

Ник Перумов Вера Камша Воевода и ночь

«Герои на все времена»: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-41799-5

Аннотация

Великая смута пришла на Русь. Нет больше Князя, способного править землями русскими. Предложили престол княжеский воеводе Степану Никитичу. Всю ночь раздумывал наш герой, а к нему являлись убитые в ходе казней на Великой недели люди. Смерть этих людей, по мнению Воеводы, была на его руках. И эта ночь стала для него настоящим испытанием.



Ник Перумов, Вера Камша

Воевода и ночь

(Вариации на тему А. К. Толстого)

*Что ни год — лихолетие,
Что ни враль, то Мессия!
Плачет тысячелетие
По России — Россия!
Выкликает проклятия...
А попробуй, спроси -
Да была ль она, братие,
Эта Русь на Руси?
Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смирение.
Где, как лебеди, девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Божьим словом и хлебом.
Александр Галич*

1. Боярин

Леса под Володимиром горели. Тлели и иссохшие за лето торфяники. Поутру сизый дым казался туманом, сквозь который проступали сухие горячие стены. Солнце катилось по небу красным раскаленным щитом и тонуло в крови, уступая место багровому месяцу. Разразившаяся в Симеонов день гроза сожгла древний дуб на Болотовой горе и снесла крест с колокольни Кронида Великого. Стекавшиеся со всех сторон в Володимир странники рассказывали кто о рожденном в полночь двухголовом жеребенке, кто о поющей петухом курице, кто о седом волке, что средь бела дня вошел в божью церковь и задрал попа с дьячком. И все громче звучал ропот — не жить человеку без головы, а Руси — без государя... И верно, не жить.

— Воля твоя, Степан Никитич, — боярин Богунов потер красные от дыма и бессонных ночей глаза, — тебе и решать, только не тяни! Убивай, так сразу.

— Не могу я, Денис Феодорович, прости! — Воевода князь Алдасьев-Серебряный глядел в пол. В пол, хотя не опускал взора ни пред покойным Кронидом Васильевичем, ни пред палачами его, ни пред горбачом Митиным, что пробудил стыд и дух воинский в отчаявшихся русских. — Не по чину мне венец и не по силам, да и кому я его оставлю? Сам знаешь...

Денис Феодорович знал, как никто иной. Когда Алдасьева схватили по навету Шигорина, не забыли ни про жену его, ни про детей, ни про братьев и племянников. Их смерть не была легкой, но в сравнении с тем, что готовил Кронид Васильевич самому воеводе, казалась милостью.

— Если в стремя ногой да на поганных, я еще пригожусь, — голос защитника Плескова звучал виновато, но твердо, — только не тяни коня на колокольню. Не влезет, а и влезет — толку-то...

— Ты Киевской крови, — в сотый раз напомнил Богунов, уже зная, что за ответ последует.

— Не я один, — отрезал воевода, сутуля богатырские плечи. — Киевичами не один Володимир красен...

— Верно, — подтвердил Богунов, заходясь кашлем. Дым и сушь рвали горло не хуже елового корья, что совали в глотки узникам опричники Завреги. — Прости, княже, воды изопью...

— Зачем же воды? — Все еще гнушие медяки пальцы сомкнулись на ручке изукрашенного чудо-птицами кувшина. — Медовухи испей, а там и обед поспеет...

— Думаешь, сытым отвязчивей стану? — усмехнулся в кольчатую бороду думный боярин. — Не стану, друже, не надейся. Ты на иных Киевичей киваешь, дескать, много их. И впрямь немало, только каковы они? Иоанн Меньшой, сколько б самозванцев на нашу голову ни свалилось, в могиле, Ейский — в монастыре, и хвала Господу! Каморня четырех государей предал и пятого продаст, Мицкой честен, да глуп, Чемесов — младенец, Древецкой — старик, Солонецкие удавятся, а под руку к Волохонским не пойдут, Волохонские в омут сиганут, лишь бы Солонецким не кланяться. Забецкой сам знаешь где... Черницкие с Долгополыми да Короткими никому и через порог не надобны. Не признает их никто: друзья не обрадуются, враги не убоятся. Нет, Степан Никитич, кроме тебя — некому, а что вдов ты, так то исправить недолго. Пятый десяток — не осьмой. Я старше тебя, а года нет, как меньшую в купель опустил...

Алдасьев не ответил, только брови свел. Тяжелое дыхание в жаркой тишине казалось странно громким и хриплым. Денис Феодорович незаметно утер лоб и замер, боясь спугнуть надежду. Князь должен согласиться, потому что больше на ошалевшем от смуты Володимире никому не усидеть — скинет, как скинул обоих Лжеиоаннов и лукавца Ейского.

А если и четвертый раз, упаси Господь, не сложится?

— Не жить нам, — отчего-то вслух произнес Богунов. — Север немцы со свейми отгрызут, запад — ляхи, на востоке татарва воспрянет, а что останется, само себя изъест...

— Не начинай сначала, друг дорогой, — устало произнес Алдасьев, — сам все знаю.

— Нет, Степан Никитич, — уцепился даже не за хвост, за подкову Богунов, — не все ты знал, но узнаешь. Не своей смертью умер Кронид Васильевич. Грех на мне, да не один, ибо не стыжусь содеянного, но стыжусь того, что тянул. Видел, к чему идет, что безумие государя губит Русь... Кровища хлещет, соседи руки потирают, прикидывают, когда накинуться, воеводы кто на дыбе, кто — в царствии небесном, а я разумом понимаю, а боюсь! Сам не ведаю, чего жду...

— Лукавишь, Денис! — рявкнул, словно на поле боя, Алдасьев. — Напраслину на себя взводишь! Что государь от удара преставился, то всем ведомо. Знаю, взъярил ты его, так не ты первый. Я да Чемесов, покойник, еще и не то ему сказывали, как Заврега под Желынью войско положил...

— Что взъярил, то вершки от бурака! — Девять лет ни попу, ни жене, ни подушке не сказывал, да и сегодня не гадал, ан придется... — А корешки в том, что была у меня отравка фряжская. Не всем, как тебе да старцу Финогену, душу да совесть вперед тела стеречь. Нагляделся я на орлов Заврегиных и сказал себе, что лучше грех на душу да в пекло, чем на дыбу или к ливонцам по следу Забецкого...

— Не мне судить тебя, — хрипло произнес воевода. — Знал бы, что в застенке ждет, Заврегу б на месте порешил да рубился б, пока опричные числом не задавили...

— Не все саблей махать горазды. — Богунов шевельнул покалеченной в юности рукой. — Носил я отраву в кольце, что Кронид Васильевич от щедрот своих у стен Хазари с руки снял.

— Помню то... Не раз гадал, а ну как бы сберег ты пальцы, а не государя, к худу то стало б или к добру?

— По той поре к худу, а другой могло б и не случиться, ты дальше слушай. Был у меня осман, золотых дел мастер... Выдолбил он яхонт да назад посадил, а государю и невдомек. Видел, не расстаюсь с его подарком, стало быть, горжусь, а в день тот...

— Осьмнадцатое березня...

— Осьмнадцатое березня... За шахматы мы с Кронидом Васильевичем сели, а Шигорин мальвазию наливал да наушничал. Тогда и сказал государь, что на Великой неделе конец тебе, а как Пасху отгуляем, на ливонцев пойдем и сам он полки поведет. Тут я и решился...

— Как же? — Алдасьев шумно втянул воздух. — Как же ты...

— Так! — Денис Феодорович поймал взгляд князя и уже не отпускал. — Шигорин на Древецкого поклеп возводил, а я, как тот от стола отходил, на него... Дескать, больно уж Григорий Алексеевич языкаст, негоже такого до государевой мальвазии допускать. Государю много не надо было. Поставил Гришка кубки, я в свой отраву и кинул, а государь усмехнулся, умирать буду, вспомню... «Коли ты, Дениска, такой верный, — говорит, — возьми мой кубок и дай мне свой. Помрешь — быть Гришке на колу».

— В свой кубок, Денис Феодорович? — Алдасьев приподнялся, опираясь руками на столешницу. — Не ослышался ль я? В свой? Не в государев?! А ну как самому бы пить пришлось?

Богунов опустил взгляд.

— Мало ты государя в последние месяцы видел, князь Степан. Мышь зашуршит — а ему лучник бластится. И отравы боялся, и ножа. А уж как любил ближних своих стравливать. Стоило мне помянуть мальвазию, мол, берегись, великий государь, так он за то прямо ухватился. Ох, ох, Степан Никитич, вот опять как сейчас его ухмылку взвидел... — Боярин тяжело вздохнул, пальцы сами коснулись образка, что висел на распахнутой груди. — Не сомневался я, княже. Поверишь ли, нет — знал, как станется. Словно на ухо кто нашептал...

— Не говорил бы такие слова, Денис Феодорович, сам знаешь, *кто* нашептать может...

— Знаю. Но и на Суде Великом, Суде Последнем от содеянного не отступлюсь. Ибо верил — себя гублю, многое и многих спасаю. А мой кубок... Не в тот день, не в тот час испытать мне его. Уж больно, как говорено уже, государь шутики про яды любил, а дальше и вовсе просто вышло... Знал я, что жить ему меньше часа, часы альбиенские у меня перед глазами были...

Алдасьев молча и хмуро кивнул. Оба надолго замолчали.

— Потому ты их и выкинуть велел? — наконец разлепил рот воевода. — Часы те?

— Потому... Выждал я сколько надо да поддался, вроде как ладью проглядел. Кронид Васильевич в довольство пришел, шахматы отставил, велел Древецкого с Кишиным кликнуть, те вошли, тут я и скажи, что нельзя государю полки вести. Воевода, дескать, он никакой. Порубят, потопчут нас ливонцы... Государь вскочил да за горло схватился. Лицо страшное, красное, на губах пена... Шагнул ко мне, упал да и отдал душу. Уж не знаю кому...

— Выходит, жизнью я тебе обязан, — с усилием произнес Алдасьев, — и не я один. Все, кого на Великой неделе не растерзали, все те, кого ливонцы не посекали... Только из дурного зерна доброму злаку не вырасти. Не прошло и трех лет, как Самозванец нагрянул.

— Оттого и нагрянул, оттого и подтолкнули его, что начали мы из ямы Кронидовой выползать. Плесков с Островом назад отобрали, к Угрени присматриваться стали... Тут-то он и подоспел, Ивашка... Да и Ейский с Богдановым-Сошкой воду мутили, а Симеон Кронидович, царствие небесное, добер был...

— Царствие небесное, — эхом откликнулся князь. — Сказал уже, боярин, не мне тебя судить. Хотел ты доброго, а лучше б стало, не тронь ты государя, хуже ли, того нам знать не дадено.

— О том мы еще потолкуем. — Говорить, так до конца. Если Степан Никитич грехи отпустит, никакой поп не нужен. — Не все я еще рассказал. Стерпел бы я и казнь твою, и полки порубленные, коли б не Сенька мой. За него я грех на душу взял, за кровь свою, не за други своя...

— За Арсения?! — воевода сжал кубок, словно сабельную рукоять. — Неужто и его... на Великой неделе? Какую ж ему вину приторочили?

— Не в вине дело... Сенька отбить тебя задумал, как на казнь повезут, да к желынским полкам отвезти. Сам понимаешь, куда ни кинь — везде клин. Кабы не вышло, сидеть бы нам всем на кольях, а кабы вышло?! Полк на полк бы пошел, брат на брата?

— Я б не дал, — раненым зубром взревел Алдасьев. — Не дал бы!

— Ты сейчас не дай, — неожиданно спокойно произнес Денис Феодорович. — Сенькина затея — дело прошлое, а нам сегодня жить. И враги наши за те девять лет не сгинули.

— Не сгинули, — лесным эхом повторил Степан Никитич, — и не сгинут... Прости, Денис Феодорович, прогону я тебя. Подумать надо... Завтра отвечу.

2. Князь

Когда ушел думный боярин, солнце стояло высоко над поблекшими от жары березами, теперь же сквозь черные ветви просвечивал ржавый, не к добру, месяц. Спустилась ночь, а воевода и не заметил — как пришел со двора, проводив гостя, как рыкнул на челядь, чтоб и носа не казала, так и рухнул на лавку.

Не в первый раз приходили к князю со словами, от которых в голове мутилось, но в первый раз не знал он, что отвечать. Просто сказать на молоко, что оно бело, а на сажу, что черна, а что про зеркало скажешь? Каково оно? А про булат? Денис Феодорович про совесть помянул, дескать, не все ее вперед тела ставят, как ты, друг дорогой... Полно, да так ли? Совесть что одежда, на лавке сидючи не измараешь, а в бою или в походе много ль от парчи

да бархата остается? Богунов одежд своих не жалел, где кланялся, где лгал, где молчал, а сколько людей да городов уберег? А ты, княже? По осени шестой десяток разменяешь, а чем славен? Татар да ляхов лупил, немцам прыти поубавил, так то просто. Впереди — враг, позади — своя земля да свои полки, либо ты одолеешь, либо тебя. Третьего не дано, да только третье сие нас и давит. Кого во сне, кого в радости, кого — в печали...

Воевода поднялся, повел плечищами. На коня б сейчас и вон из Володимира! Ветер в лицо да стук копыт и не от такого лечат, только слуги не отпустят, сзади увяжутся, и еще жара, что даже ночью не спадает. Жара и дым, словно сама земля горит, а первые искры уж не в твоей ли горнице двадцать с лишним лет тому полетели?

Смотрит с образов Спас Ярое Око, тоже ждет ответа. Под таким взглядом не sluкавишь, не с того ли Лжеиоанн сжег хоругвь чудотворную да образа, с нее списанные? И не с того ль заполыхал тот костер на Червонной площади, что Алдасьев-Серебряный в обиды ударился да от столицы отъехал? Сидел в своем углу, как бирюк, да был по семье да по молодости сгинувшей, а полки на Самозванца иные повели? И ведь, поди, никто вины твоей не помнит. Ни горбач Митин, ни Богунов, ни ратники с ополченцами, что за тобой, как в старые времена, пошли. Только ты и знаешь, что была измена. Не та, про которую Заврега наплел, иная. Забыл ты про Русь, княже, когда беды по колено было, а теперь озеро натекло.

Ржавый месяц за окном поднялся выше, но не побелел. Тихо, не скрипнув, отворилась дверь, вошел в горницу кто-то высокий, в дорожном платье. Князь Михайло Забецкой! Друг сердечный да лучший воевода земли русской... Бывший друг и бывший воевода. Ни единого седого волоса в русых кудрях, ни единой морщины на красивом лице, только шрам от сабельного удара рассек левую щеку — память о взятии Хазари.

— Здрав буди, Степане, — поклонился гость, — давненько не видел я тебя.

— И ты будь здоров, Михайло, — пробормотал Степан Никитич. — И впрямь давненько не видались. Я — старик уже, а ты все молодешенек, словно вчера от стен хазарских.

— Невместно мне стареть. — Забецкой, не крестясь, сел у стола. — Налей мальвазии, княже. Выпьем тебе во здравие, мне — за упокой.

— Так ты умер? — отчего-то это известие не вызвало ни страха, ни удивления. — Не знал, прости...

— Коротка у тебя память, княже. Ты и убил меня в доме своем. Я, как письмо подметное получил, что зарежут меня по приказу государеву, к немцам уйти решил да проститься зашел. Ужель запамятовал?

Степан Никитич молча покачал головой. Он помнил ту ночь до последнего слова. Князь Михайло, хмурясь, пил чашу за чашей и не хмелел. Вспоминал то как они по младости с Кронидом Васильевичем в одних рубашках от убийц бежали, то Хазарский поход, то наровскую победу. Не было у Крониды Васильевича друга ближе да воеводы лучше, чем Михайло Андреич...

— Помню, как ты пришел, — выдавил из себя Алдасьев, наполняя кубки, — и о чем говорил, помню, и как на коня садился. Нет на мне твоей крови, князь, это ты в нашей крови купался, новым хозяевам угождал.

— Ничего-то ты не понял, Степане, — жутковато усмехнулся Забецкой, — ни тогда, ни теперь... Не хотел я бежать, душа не хотела. Головой решился, не сердцем. Не со страху — с обиды. Отплатить хотел Крониду, а совесть не пускала, вот и пришел к тебе. Думал, отговоришь али убьешь на худой конец, а ты отпустил, ровно в прорубь кинул. Вошел к тебе живым, вышел — мертвым... Хуже, упырем. С того и кровь пил, да не сыскалось мне кола по сию пору, с того и старости мне нет. Так и вою, ровно волк, как ветер с востока поднимется. Худо мне, Степане, ох как худо...

— Вижу, что худо, — жестко сказал Алдасьев, — только не перед тобой моя вина, а перед теми, кого вместо тебя схватили. Не верил Кронид Васильевич поклепам, пока ты к супостату не перекинулся. Убить хотел тебя, то правда, только не за крамолу... Видел он, что у царевича твое пятно родимое, а потом шепнули ему про тебя да про государыню...

— Много грехов на мне, Степане, — перебил Забецкой, — вовек не отмолюсь, но все они поздние. Чист я был до измены. Было б чем поклясться, поклялся, а что до пятна родимого, то мы с Кронидом одного деда внуки.

— Так государю Ейский и сказал да о победах твоих напомнил. Дескать, всем ты, княже, взял. И девки тебя любят, и люди воинские, и народишко подлый. Захотел бы венца, носил бы уже. Государь и запомнил, только не знаю я, Михайло, что прежде случилось — ты ли сбежал, государь ли избыть тебя решился. И никто теперь не скажет, разве что на том свете ключарю Пресветлому.

— Ладно, Степане, — махнул рукой Забецкой, — дело прошлое. Не за тем пришел... Меня добил, Русь не добивай. За нее, родимую, пью...

— За нее, — повторил Степан Никитич, поднимая кубок. Присутствие Забецкого не пугало и не удивляло. Михайло должен был прийти и пришел. Сколько волка ни корми, а он в лес глядит... Сколько ни засыпали Михайлу Андреевича немецким золотом, тот на Болотову гору косился. — Много ты говорил, княже, что ж о том, как стравил свеев с ляхами да с границ наших увел, не сказал? Что о том, как Млавенец ляхский ливонцам вместо Плескова скормил, молчишь?

— Того и молчу, что, в ключевой воде замаравшись, в болотине не отмыться. Ну, прощай, Степане. Не провожай, не знаешь ты дорог моих нынешних, не про таких, как ты, они торены.

Пустая горница да споловиненный кубок. То ли было, то ли привиделось...

— Опять полуночничает, горюшко мое горькое?

Аннушка! Жива... Вскочить бы, броситься к ногам, собакой ткнуться в подол да не сдвинуться с места, только и сил, что глядеть, боясь сморгнуть, чтоб не растаяла, не рассыпалась серым прахом. Заживо ж сожгли с детьми да слугами. Заживо! А ведь мог спасти, если б гордыню смирил. Знал ведь, что придут, упредили люди добрые. Во всем Богунов признался, одно позабыл. Молодицу у колодца, что детей спасти велела да кольцо с яхонтом показала. Памятное кольцо, государем дареное, государя и убившее. Не снимал его Денис Феодорович, ровно сросся с ним, а тут не пожалел!



— Да что с тобой, Степушка? — засуетилась Анна. — Молчишь, глядишь зверем, ровно и не ты жив, а я...

— Это я тебя загубил, — глухо произнес князь. — Гордыня моя. Дескать, неместно мне по следам Михайлы тащиться. Лучше свой государь за правду казнит, чем иноземный за кривду в шелка оденет. О себе думал, о тебе забыл.

— А ты всегда забывал, — улыбнулась молодыми губами княгиня, — не для себя жил — для Володимира. А теперь для всей Руси поживи, поздно тебе о винах думать да о сгоревшей траве плакать. Не меня жалея — тех, кто сейчас боится да плачет.

— Не то беда, что не для себя жил, — повторил Степан Никитич, — а то беда, что не для тебя. Не было тебе ни счастья со мной, ни покоя. Только раненым меня и видала...

— Все было, Степушка. И счастье, и несчастье, — белая рука потянула к себе тяжелый кувшин. — Ночи без дня не бывает, а зимы — без лета. Пьешь, гляжу, ну и я с тобой выпью. Долго же мы с тобой не виделись. Девять лет жду, да мне не впервой. Сколько надо, столько и живи. Для того и пришла, чтоб сказать... И спросить.

— О чем спросить, Аннушка?

— Да о чем сестра наша спрашивает? Только правду ответь. По любви ты меня взял или отцы наши сговорились, тебя не спросили?

— Сговорились, Анна Всеславна... Не было любви, да другое потом пришло. Не цветами — хлебом. Прирос я к тебе накрепко.

— Вот я и узнала, — вздохнула княгиня. — Что ж, что купила, то и ешь. Правды просила, а хотела иного... Нет в тебе жалости, Степане, только правда.

— Ты же сама...

— Сама. По дурости. Ну, прощай... Не до меня ведь тебе, сама вижу. И не иди за мной — не догонишь.

И вновь тишина, сторожкая, будто перед войной. Два кубка на столе, споловиненный да пригубленный, а третий, пустой, в руках. Налить бы, да прошлое топить в вине позорней, чем от врага бежать. Без памяти — ровно и не жил, только с памятью порой лучше б и не жить, а завтра придут и спросят, готов ли ты, княже, принять венец Киев, и что ответишь? Ейский душу за обруч с самоцветами загубил, да добро б только свою. Богданов-Кошка, даром что двадцатый год рясу таскает, за венец для сына-недоросля глотку хоть кому перервет, а тебе легче петлю вздеть, чем бармы.

Снова шаги в сенях! Легкие, быстрые, торопится кто-то...

— Кого Господь несет? — Полно, да Господь ли?

— Здрав буди, княже! Знаю, не рад ты мне...

— Государь Симеон Кронидович! Так ты...

— Где положили, там и лежу, — последний из сынов Кронида Васильевича улыбнулся робко и виновато, как и в последнюю их встречу. — Прости, княже, не своей волей тебя тревожу, да когда я что своей волей делал? Разве что пел, когда не слышал никто, только какой с певца государь? Воды испить дашь? Знаешь же, вина в рот не беру, худо мне от него.

— Сейчас, государь. Нет здесь воды, принести надо.

— Коли так, не тревожься. И то сказать, зачем мне теперь вода, баловство одно... Вот когда Ивашка признать его велел, тогда тяжко без нее было. Думал, не выдержу — все, как хочет, скажу и крест на Лобном месте поцелую, да уберег меня Господь от свидетельства ложного, подкинул веревочку... Тоже грех, да только мой, а скажи я всему Володимиру, что холоп беглый Кошкин — племянник мой, чудом спасшийся? На всех бы ложь моя пала...

— Замолчи, государь! — то ли прошептал, то ли взвыл Алдасьев. — Сыном Божьим, матерью Его Пречистой молю, замолчи!

— Как скажешь, Степан Никитич, — потупился Симеон. — Прости, что опечалил, только вспомнилось... Мы в земле неосвященной лежим, вот и помним. Вода святая, землю кропящая, сны навевает, доброму — добрые, лихому — лихие, чтоб совесть пробудилась, а самоубийцы, они бессонно лежат. Так ты принесешь воды, княже? Если будет ласка твоя, похолоднее, жарко мне...

— Сейчас, государь!

В окно мальвазию фряжскую — да с пустым кувшином в сени! Нет у Симеона Кронидовича зла на душе, так ведь и не было никогда. У отца да братьев старших было, а Симеон блаженным родился. Крови боялся, охотой и той брезговал, а не сломался. Душу загубил, а пса прилюдного за родича не признал, а тому пол-Думы на верность крест целовало...

В дубовой кадке дрожит вода, а в глубине ровно горит что-то. То ли месяц ржавый, то ли свеча... Совсем рехнулся ты, княже. Сам ведь свечу и держишь, в своей руке, и дрожит она чуть ли не впервые в жизни. Алдасьев сжал зубы и разбил дрожащее зеркало изукрашенным птицами кувшином. Тихо плеснула вода, потекла в серебряную глубь. И то сказать, какой с кувшина спрос — что нальешь в него, то и будет, нет у него выбора, а у человека есть. Выбрал Михайло Забецкой чужбину, выбрал Степан Алдасьев застеноч, выбрал Симеон веревочку, только конец той веревочки к чужой гордыне приторочен.

Ухнула, лупнула желтыми глазищами сова — и откуда только взялась? Пожары, что ль, из лесов выгнали? Подняли ветер, едва не скользнув по щеке, крылья, метнулась ночная хозяйка вон из сеней, в серые сумерки, оставив боярина одного. Совсем одного.

Ни друга бывшего, ни жены, ни государя, только три кубка на пустом столе стоят, ровно на иконе, иноком Сергием писанной. Кубки есть, только ангелов не видать. Отлетели они с земли Володимирской. Пусто за столом, пусто в горнице, пусто в душе... Прошла заветная ночь, скоро зазвонят у Кронида Великого, скоро придут к боярину за ответом, а что отвечать? Нет силы у воеводы и не было никогда, *такой* не было. Не поднять Алдасьеву земель русских, как не поднять Царь-колокол, как не повернуть Царь-пушку, да и не один он от семени Киева, есть и моложе, и сильнее, и достойней. Полно, есть ли?

Смотрят с божницы лики, тоже ждут ответа. Не ждут — требуют, а небо на востоке

багровеет, будто кровью наливается. Выходит над Володимиром Великим недоброе солнце, начинается новый день...

3. Окольный

Супит брови горбач Митин, красны глаза отцовы — не от дыма, не от бессонницы — от ожидания непоправимого. Топчутся с ноги на ногу володимирцы, желынцы, нижегородцы, плесковичи, югорцы... Они еще думают умолить князя принять венец, как умолили саблю поднять, только одно дело — супостатов от Болотовой горы гнать, другое — на престол сесть. Страшное то дело, неподъемное.

— Как думаешь, Арсений свет Денисович, умолим Никитича?

Гаврила Кудряш, атаман казацкий. Борода да брови смоляные, а волосом сед как лунь. Когда Ейский с Шигориным к Самозванцу перебежали, не пошел с ними Кудряш и с побратимами своими Кустрей да Чехвостым врезал по тевтонцам. Многих порубили, совесть сберегли, а Володимир и государя — сил не достало. Сам Арсений Богунов того боя не видел: татар за Халзан провожал, — но наслышан был немало.

— Не умолим, Гаврила Козьмич, — не стал кривить душой Арсений. — Отец вчера туча тучей вернулся. Он не смог, мы и подавно не сможем.

— И то, — казак хмуро зыркнул на Патриаршьи палаты, — зато Кошка, поди, радешка...

Все носят крест, все братья, все должны чтить отца своего, и государя своего, и пастырей своих, только нет веры патриарху у тех, кто саблей незванным гостям путь от Володимира на Заход указал. Да и с чего быть ей, вере-то? Первый Лжеиоанн — холоп Богдановых, у второго патриарх с родней в плену жил, ровно у Господа за пазухой. Волоска из бороды не потерял...

Вышел на Красное крыльцо дьяк думный, завел всем ведомое. Про то, как бояре и воеводы писали во все города всяким людям, чтобы были к Володимиру Великому митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, и из дворян, детей боярских, гостей торговых, посадских и уездных людей, выбрав лучших, крепких и разумных — по сколько человек пригоже, — для Земского Совета и для Государского обирания прислали к Володимиру же...

— С Ивашкой, бабку его за хвост, за поганый, проще было, — заворчал Кудряш. — И со вторым вором, и с падлюками семибатушными, а тут ровно в тумане...

— Не в тумане, — шепотом поправил одноухий Чехвостый, — в дыму... Тлеет, не гаснет.

— Не погаснет, пока государя не посадим, — откликнулся еще кто-то. — Хоть какого!

— Душа у земли болит... Блаженный-от вчера говорил...

Муторно. Муторно стоять и ничего не мочь. Только ждать, зная, что ждать нечего. Только просить, зная, что не пойдет Алдасьев против совести своей, как никогда не шел.

Помнил Арсений Денисович князя и за столом батюшкиным, и в бою, и у костра на биваке. Сколько себя помнил, столько и Степана Никитича. Как бывал в гостях, как подхватывал несмышленного Сеньку в седло, как шутил, что невеста ему растет, княжна Марья. Первая Сенькина сабелька Алдасьевым дарена, скоро сыну впору будет... была бы, случись все, как отцам гадалось. Марья Степановна в тереме сгорела вместе с матерью, с братьями да сестрами... Пятнадцатая весна ей шла, а Сеньке Богунову восемнадцать сровнялось. Два года в Володимире не бывал, из Млавы воду черпал, там и узнал, что зашевелилась Орда недобитая, перешла Халзан. А чего б не перейти — полки русские после прорухи ливонской раны зализывают, а государь своих пуще басурман стережется?..

«Мы били челом соборно и молили со слезами много дней государя Степана Никитича, дабы нас пожаловал, сел на государство, так я вас, бояр и весь царский синклит, дворян, приказных людей и гостей, и все русское воинство благословляю на то, что вам великому государю Степану Никитичу в ноги пасть и молить его...»

Патриарх. Красно говорит. И отец красно говорит, и Митин-горбач. Воинским людям так не сказать. Ни Алдасьеву, ни Кудряшу, ни самому Арсению... Не держал Денис Феодорович единственного сына при себе, с тринадцати лет гонял то в степи халзанские, то в леса млавские, лишь бы от государя подальше. Мать плакала сперва, а после того, что с Алдасьевыми сталось, сама выпроваживать стала, только не наловчился Арсений Богунов бегать. И бросать тех, кто дорог, тоже.

Как услышал про казни на Великой неделе, так и понял — отобьет Степана Никитича со товарищи и к Желыни и дальше, за Халзан. Князь татарву уймет, не впервой. Глядишь, государь и образумится, а нет, так с Халзана и выдачи нет, разве что войной идти, да кому с Алдасьевым воевать? Не Завреге же!

«А у меня, Филоктимона патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей и всех вернославных, которые были в Володимире Великом, мысль и совет всех единодушно, что нам, мимо государя Степана Никитича, иного государя никого не искать и не хотеть».

— Никак, кончил, — шепчет Кудряш. — Пошли, что ль...

Пошли. Пешими, по пахнущим лесным да торфяным дымом улицам. Епископы и игумены, бояре и дети боярские, гости торговые и люди посадские... И недалеко идти, только дым глаза ест, а тоска — сердце. Где удаль боевая, где отчаянье, что на самого Кронида Васильевича саблей замахнулось? Иссякли, одна тягота на душе и осталась.

Широки улицы володимирские, да не сегодня — почитай, со всех земель русских люди добрые съехались. Недолго рядили, недолго думали. Сошлись вернославные в выборе своем, только что с того? Все и дождя просят, а решать все едино Господу.

Патриарх с князьями да боярами уже у ворот алдасьевских, а югорцы только-только с площади убираются. Народишко надеется, а набольшие уже венец на себя примеряют. И чего им на колени перед Алдасьевым не стать, бескорыстие не выказать, коли тверд князь в отказе своем, ровно кремь. Видел Арсений, как выволакивали Степана Никитича на руках из темницы, сам и выволакивал... И на пепелище вместе были они — не стал Степан Никитич тянуть, сразу велел к дому нести. К бывшему дому...

— Помнишь?

Кто спросил? Кудряш — так не было его тогда в Володимире. Чужие валят ставшей тесной улицей, то есть не чужие — свои, вернославные, но не знает их Арсений Денисович, и они его не знают.

— Помнишь?

Шагает рядом тучный старик, вроде инок, вроде и нет. Суров лик и задумчив. Не он ли спросил? Заговорить? Не с кем заговорить, нет рядом старика, но он помнит... Помнит, как пошли слухи, что Иван, сынок Ивана Кронидовича посмертный, выжил. Схоронила, дескать, младенца кормилица, свое дитя в цареву колыбель положила. Не ведала того вдова, кинулась вместе с сыном с башни, чтоб душегубу-свекру живой не даться, а пред тем прокляла и Кронида, и всех присных его...

Может, и прокляла, только слухи те едва ль не двадцать лет спали и вдруг поползли червями по падали... А за слухами и Самозванец объявился, да не на Халзане, не в лесах югорских, а у магистров тевтонских. Те и помогли войском, казной и женой, а потом и ляхи кровь почуяли, только не вышло б у нечисти чужеземной ничего, кабы не измена и не слухи. Верили. Верили люди, что вернулся Иван Божиим соизволением и теперь расточатся все беды, ровно их и не бывало. Потекут реки молочные, уймутся мытари и разбойники и станет все как в старину, золотую да лазоревую. Сколько было обманутых, а сколько все понимало, да поживы искало?

Вот и березы алдасьевские. Березы старые, палаты новые. По приказу Симеона Кронидовича срубленные на чистом месте. Там, где стояли прежние, теперь храм Анны-великомученицы, тоже государем возведенный. Только ни дня при Симеоне не прожил Алдасьев в новом доме, ни единой свечечки в храме не зажег. Как смог в седло сесть, так и

отъехал в вотчину, ни с кем слова не сказав, даже с батюшкой. Государь не гневался — не умел. Только раз и закричал Симеон Кронидович. На Самозванца, как он хоругвь цареградскую ухватил... А князя Алдасьева не отец вернул, хоть и дружны были, и не патриарх, а горбач нижегородский. *Тогда* внял князь.

Распахнуты ворота. Настежь. И стоит в них воевода Степан Никитич. Один-одинешенек. Спокойно стоит и неколебимо. Не стал ждать в горнице, не захотел, чтоб на колени валились, чтоб молили, ибо невместно и ни к чему. Такие, как Алдасьев, сами про себя все решают. Не нужны им уговоры и унижение чужое.

Оперся на свой посох патриарх. Утопил в бороде радость и призвал князя к повиновению. Истово призвал, чего ему? Пусть все видят, что молили строптивца, да не умолили. А потом кто-то шепнет про юного Данилу, сына Святейшего, что в монастыре дальнем безгрешно живет, из плена вынувшись. И поползут слухи, как ползли об Иване Меньшом...

— Против воли Господней кто может стоять? — возглашает Филоктимон. — И ты безо всякого прекословия, повинясь воле Господа нашего, будь всем вернославным государем. О том пришли мы...

— Знаю, о чем пришли, — князь вытянул ладонь вперед, останавливая Филоктимона, — все знаю, не утруждай себя, отче. Невместно человеку идти против воли земли своей, невместно ношу свою на чужие плечи перекладывать, принимаю я венец Киев.

Громыхнуло — или охнуло в небесах? Или только тебе то слышно, окольный? Тебе огонь небесный глянул в очи, тебе одному ветер взъерошил волосы, охладил виски? У тебя одного упал камень с души — или у всех? Ты один выдохнул — или вся Русь?

Потому что нашелся тот, что принял неподъемное? Встал тот, что, бондарному обручу подобный, скрепит распадающиеся, разбредаящиеся досточки — русские кости? Что, покорило? Бочка не понравилась, ни куполов тебе златоглавых, ни храмов белокаменных? Так ведь оно как выходит — бочка, она куда полезнее меча бывает. Не сберечь страну без меча, но и меч без бочки не прокормишь.

Встал князь, распрямил плечи, взялся за гуж. Неведомый раньше восторг сдавил окольному горло, защипало глаза бабьей водой, и впервые в жизни Арсений Богунов не стыдился помокших щек.

Есть государь на Руси. Прочен обруч бондарный. Встанем, выпрямимся, разогнемся. Сдюжим.

— Спасибо тебе, Степан Никитич, — прошептал окольный, последний раз величая князя по-дружественному, по-родственному. — Спасибо тебе.